

# ЮРИИ БУДА

## ТРЕТЬЕ СЕРДЦЕ



Юрий Буйда  
**Дон Домино**

«ЭКСМО»

2010

## **Буйда Ю. В.**

Дон Домино / Ю. В. Буйда — «Эксмо», 2010

Юрий Буйда не напрасно давно имеет в литературных кругах репутацию русского Зюскинда. Его беспощадная, пронзительная проза гипнотизирует и привлекает внимание, даже когда речь заходит о жестокости и боли. Правда и реальность человеческой жизни познаются через боль. Физическую и душевную. Ни прекрасная невинная юность, ни достойная, увитая лаврами опыта зрелость не ограждают героев Буйды от слепящего ужаса повседневности. Каждый день им приходится выбирать между комфортом и конформизмом, правдой и правдоподобием, истиной и ее видимостью. Ни один выбор – не идеален. Но иногда выбрать – значит совершить поступок. Какими ни были бы его последствия... В новую книгу известного писателя, драматурга и журналиста Юрия Буйды вошел роман «Дон Домино». Стилистический шедевр, он колеблется на грани Добра и Зла, зачаровывая и пленяя.

© Буйда Ю. В., 2010

© Эксмо, 2010



## Юрий Буйда

### Дон Домино

– Евреи уезжают! – крикнул он в гулкую пустоту дома и снова, так и не дождавшись отклика, вернулся к окну. – Евреи всегда уезжают. Это только мы, дураки, остаемся.

Отсюда ему хорошо было видно, как мужчины и женщины, сгибаясь под тяжестью багажа (теперь это были уже не вещи, не имущество, не рухлядь, накопленная старухой Фирой за сорок с лишним лет жизни на станции, – теперь это был всего-навсего багаж, поклажа беженки, пассажирки, чтоб ей сдохнуть), осторожно пробирались узкой глинистой тропкой к мосту и один за другим шли над ревушей рекой по дребезжащему ржавому железу на тот берег, где их поджидал огромный грузовик. Фира неподвижно сидела на стуле с гнутой спинкой, висевшемся посреди двора, среди хлама, брошенного тряпья и каких-то бумаг, которые ветер то разом поднимал стаей грязно-белых птиц, то швырял по сторонам, лепя к облезлым стенам опустевшего дома, к накренившемуся забору, к черному блестящему дождевику, кем-то наброшенному на старушечьи плечи. Она тупо смотрела перед собой, не замечая ни сына, ни его друзей, которые спешили до наступления темноты перенести на тот берег все мало-мальски ценное.

И все это время он стоял у окна, наблюдая за Фирой и за тем, как ее жизнь – вещь за вещь, тряпка за тряпкой, фотография за фотографией – покидает этот дом, сваливается второпях в забрызганный грязью огромный грузовик, чтобы отбыть навсегда, насовсем, навеки, чтобы попытаться прилипнуть – где-то там, вдали – к какой-то новой и наверняка чужой для нее жизни. На одной из фотографий запечатлены первые поселенцы: Фира, ее муж Миша, он – Иван Ардабьев, прозванный за пристрастие к костяшкам – Дон Домино, его названный брат Василий, его жена Гуся, какие-то солдаты, помогавшие им разгружаться на том берегу и перебраться по камням на этот берег, где стояли два щелястых барака. Толстенкую Гусю перенесли на закорках, чуть не уронив в воду, а Фира – с высокой прической, в шелковом платье цвета заката, на высоченных каблуках – перебралась сама, сняла туфли и босиком запрыгала по синеватым горбам, торчавшим из вспененной желтой воды, хотя желающих перенести ее на руках на тот берег было предостаточно. На той фотографии не было ни Алены, ни рыжего полковника, никого не было, только они, первопоселенцы, приехавшие на отмеченную цифрой на неведомых картах станцию, в два щелястых барака. Предстояло еще построить мост, проложить рельсы, собрать бараки для рабочих-ремонтников и – чуть позже – для тех, кто будет работать на лесопилке и шпалопропитке. Тогда. Сейчас. И – вот. Никого. Кто уехал, кто умер и похоронен на небольшом кладбище, устроенном давным-давно на том, другом, берегу, подальше от моста и домов, подальше от живых, которым полагалось работать не покладая рук и поменьше думать о смерти, а если и думать, то не о той, естественной, а о смерти как наказании – за непослушание, излишнюю болтливость или попытку к побегу. Вот – никого. Фира уезжает. Остается только он, старый Ардабьев, и ему уже не с кем постучать костяшками по столу. Да еще Гуся, притаившаяся где-то в гулкой пустоте этого дома и не отзывающаяся ни словом, ни движением. Может, тоже – умерла...

Он надел шапку-ушанку, ватник и спустился к реке, откуда узкая глинистая тропка поднималась к проржавевшему мосту, чей неуклюжий металлический костяк мелко дрожал под напором разлившейся реки.

Поддерживаемая сыном, который вдобавок нес и стул с гнутой спинкой, Фира с трудом передвигала обутые в галоши дрожащие ноги по раскисшей глине.

– Здорово, дядь Вань. – Игорь высморкался, кое-как выколупал из нагрудного кармана пухлой куртки пачку сигарет. – Кури.

Дон Домино покачал головой.

Старуха Фи́ра бо́чком присела на стул, обеими руками схватившись за гнилую перилину, тянувшуюся вдоль тропинки и напоминавшую о тех временах, когда здесь были надежные деревянные ступеньки, каждый год обновлявшиеся Ардабьевым.

– Нулевой-то все ходит? – подмигнул Игорь.

– А куда он денется, – хмуро ответил Ардабьев.

– Рельсов там нету, дядь Вань, – сказал Игорь. – Ни там, ни там. – Он махнул рукой в сторону поселка. – Ничего нету. Только здесь забыли убрать. Уезжай. Каково тут одному? Да зимой?

Покачав головой, он отшвырнул окурок и помог матери встать.

Дон Домино снял шапку, с трудом изобразил улыбку, показав два ровных ряда блестящих железных зубов.

Фи́ра глубоко вздохнула. Среди коричневых и лиловых пятен на ее морщинистом лице вдруг обнаружился рот, полный bestолково натканных там и сям желтых зубов. Дрожащей рукой она перекрестила Ардабьева.

– Прощай, Иван... теперь – навсегда прощай...

Он осторожно прижал к груди ее легкое, уже почти бесплотное тело.

– Прощай, Фи́ра. – Откашлялся. – Весна – плохое время... Хуже не бывает...

Хватаясь за качавшуюся из стороны в сторону перилину, старуха полезла вверх, то и дело оскользаясь на глине, – сын подхватывал ее, но она отпихивала его локтем и все лезла, лезла вверх, пока не схватилась, наконец, за стальной поручень моста.

– А стул-то! – вдруг спохватился Ардабьев. – Игорь! Фи́ра! Стул забыли! Стул!

Игорь отмахнулся.

Пригибаясь под порывами холодного ветра, они прошли над вспучившейся весенней рекой и спустились по лесенке к машине. Игорь помог матери забраться в кабину. Брызгая грязью, грузовик кое-как развернулся и, надрывно подвывая мотором, пополз по дороге за холмы.

– Рыба, – сказал громко Дон Домино, нахлобучивая шапку на седые лохмы. – Отдуплились.

Взвалив стул на плечо, он медленно побрел вверх по отлогому холму к поселку, на краю которого, первым от реки, стоял двухэтажный кирпичный дом, где когда-то жили станционные с семьями, а теперь – Дон Домино да баба Гуся, которая неизвестно в какую щель забилась после похорон и вот уже три дня не откликалась на его зов. На середине подъема Ардабьев в сердцах вонзил ножки стула в грязь и, поплотнее запахнув ватник, уселся покурить. Отдуплились. Рыба. Один. Он спрятал огонек спички в огромных красных ладонях и не торопясь прикурил папиросу.

– Вот и евреи уехали, – снова проговорил он, глядя невидящими глазами на затянутые водяной пылью холмы, однообразно бежавшие рыжевато-коричневыми волнами к лесной зубчатке, пилою врезавшейся в низкое, с едва различимыми оттенками голубизны небо, расплзшееся мокрой промокашкой над ржавыми рельсами, над однопутным мостом, содрогавшимся от неистового бешеного напора коричневой реки, над крышами поселка, вернее, над тем, что от него осталось: остовы нескольких товарных вагонов на запасных путях, пакгауз без крыши, станционное здание со стеклянным балконом, выдававшимся над перрончиком, обложенный кирпичом дом Фиры, во дворе которого влажный ветер все носил и носил грязно-белых птиц... Обвалившиеся заборы, стены, опутанные ржавыми проводами поваленные столбы там, где когда-то стояли дома, лесопилка, шпалопропитка, контора, пивная, ремонтные мастерские – все то, что десятилетиями поддерживалось в исправности ради того, чтобы ровно в полночь туда или оттуда, не снижая скорости ни на повороте, ни даже на грохочущем и стонущем мосту, промчался нулевой – сто вагонов с наглухо задраенными и опломбированными дверями, два локомотива впереди, два – сзади, чух-чух, у-у-у! Сто вагонов. Станция отправления неизвестна. Станция назначения – тайна. Держи язык за зубами.

Ваше дело маленькое: чтоб пути были в порядке. От сих до сих. Чик в чик. Так говорил тот полковник, который в первый же вечер собрал их в тесной комнатухе в одном из барачков. Рыжий и голубоглазый. Как же звали того полковника? Действительно ли он был полковником? Выходит, по армейской мерке – генерал. Чтоб был порядок – и никаких вопросов. Есть вопросы? Никак нет, товарищ полковник. Будет порядок, товарищ полковник. А полковник в этом и не сомневался. Ни разу. Иначе зачем бы он тут? Иначе зачем бы тут все эти проверенные-перепроверенные люди? Уже к зиме саперы выстроили жилье для станционных и рабочих, пакгауз, небольшую мастерскую-временку, водокачку и склады для угля. К весне был готов и мост, чье костлявое тело вытянулось над поймой норовистой речушки и уперлось в вершину дальнего холма, едва видневшуюся среди слившихся в однородную массу деревьев. К концу мая завершили лесопилку, шпалопропитку и пивную. А первого июня – Дон Домино никогда не забывал этот день – прошел первый нулевой.

Мишка Ландау, Фира, Вася Дремухин, жена его Августина, Иван Ардабьев, который позднее получит прозвище Дон Домино, когда научится играть по-настоящему, а еще – за присутствие чего-то цыганистого в лице, «испанистого», как говорила Фира. Кто еще? Ленка Амбарцумян с мужем Рафиком. Да, конечно, полковник со своими людьми, все в тщательно наглаженном обмундировании, в блестящих сапогах, доведенных до шика с помощью раскаленного утюга. Еще – начальник лесопильной конторы Удоев. Лесопильный бухгалтер со своей двухспальной женой, суровой толстухой, которая раз в месяц выбиралась на далекие станции, чтобы там, подальше от знакомых, развлекаться со всяким, кто ни пожелает, а поскольку желающих было немного, она щедро платила за раз на бутылку, и забулдыги приходили по двое-трое, ибо платила бухгалтерша только за добросовестную работу. Кто еще? Не вспомнить, погасли в памяти их лица, стерлись, как монета, да и не нужны они и память о них. Все они в ту ночь не спали, дрожь била их, они еще и еще раз проверяли, все ли в порядке – ну, слава богу, кажется, все. А это? И это. Тот долгий июньский день и в памяти-то остался только благодаря нулевому. Как и те лица, и слова, и жесты, и утренняя роса на рельсах, к полудню заблестевших жарким серебром, и стрекот кузнечиков в жесткой траве, пахнувшей креозотом, и все другое, все-все-все – было лишь тенью ожидания нулевого. После десяти (солнце только-только начало опускаться за зубчатку лесов) все слонялись по пристанционному пятачку, нервничали, начинали и тотчас обрывали какие-то пустейшие разговоры, курили, в который раз проверяя складку на брюках и хорошо ли сидит юбка и не скосилась ли стрелка на чулках, и снова прыскались одеколоном и духами, привезенными рыжим полковником нарочно к этому дню, а на крахмальной скатерти во дворе поблескивали узкими боками бутылки и стаканы, стопками высились мытые-перемытые тарелки, пылали охапки пионов, разложенные до поры по стульям, собранным из всех квартир. В половине двенадцатого Фира прошептала:

«Я, кажется, слышу».

«Полчаса еще, – покачал головой муж. – Мерещится тебе, зайныка».

Расплывшаяся Августа хватала широко открытым ртом горячий воздух, пропахший креозотом, ваксой и одеколоном, – воздух, который можно было резать ножом. Без десяти у нее начались схватки.

«Символично. – Полковник скорчил гримасу. – Рождение нового человека совпадает с рождением нового пути».

Прибежала пахнущая водкой фельдшерица с лесопилки. Августу под руки отвели в больничку. Через пять минут Вася Дремухин вернулся на пятачок, ему налили стакан водки доверху, с горкой, он глотал с закрытыми глазами, захлебываясь, водка текла по подбородку и порезанному во время бритья кадыку.

«Теперь точно, – сказала Фира, бессильно опускаясь на стул. – У меня ноги отнялись, Миша».

Ландау поднял стул с женой и вынес на перрончик.

«Темень-то, – сказал полковник. – Идет».

Свет разлился над верхушками далекого леса, через несколько секунд над холмами вспыхнула жгучая точка. С равномерным грохотом мчался к мосту состав. Гудок. Грохот обрувался, обрушился под костлявое тело моста, снова вынырнул. И вот – яркий дымный свет прожекторов, сливающийся стук колес, маслянистый чугун, тусклая сталь машин, вагон за вагоном, все задраены, опломбированы, пустые тормозные площадки, вой-грохот-пыль, поезд пронесется мимо что-то кричащих людей, забывших про цветы, мимо подпрыгивающих и целующихся мужчин в униформе, и скрывается за поворотом в километре от станции, но еще долго слышно, как он стучит и гроыхает между холмами...

Полковник стоял навтыяжку, отдавая честь безмолвному составу, уносящемуся в ночь, и слезы текли по его дважды выбритым упругим щекам.

«Вот, – наконец проговорил он, сглатывая. – Так. Видели? То-то. И чтоб вот так – всегда. Умри, расшибись, убей, если надо, но чтоб этот поезд шел без задержек, без сучка и задоринки, чик в чик. Ясно? – Он повернулся к Ивану Ардабьеву. – Тебе – ясно?»

«Ясно, товарищ полковник, – сдавленным голосом ответил Иван. – Все ясно».

«Твои родители – враги народа, – продолжал полковник, вытирая платком щеки. – Нам это хорошо известно. Но ты за них не отвечаешь. Ты отвечаешь за себя. И за Родину. Ты воспитывался в детдоме. Питание, обмундирование и так далее. Родина тебе верит. Понял? Родина тебе верит – не меньше, а может, даже больше, чем другим... – Он сделал паузу. – Быть может, больше, чем другим, и быть может, именно потому, что родители твои предали Родину. Ты это понимаешь?»

Иван молчал.

Ему было десять лет, когда отец на глазах у сына застрелил жену, Иванову мать, а потом застрелился сам. Несколько часов мальчик провел в квартире один, спрятавшись в чуланчике за кухней, откуда его и извлекли бывшие сослуживцы отца – чекисты. Уже через неделю сын врагов народа был определен в сиротский приют, но только спустя полгода к нему вернулся дар речи. Он плохо знал родителей, но не потому, что не любил их, – отец все время проводил в командировках, мать – на советской службе. Юркая сухонькая домработница баба Уля вполне заменяла ему семью. Она собирала его в школу, по воскресеньям брала с собой в гости к сестре, работавшей на шарикоподшипниковом заводе, и пока Уля с сестрой и ее вечно сонным мужем пили водку, запивая ее чаем из праздничного самовара, мальчик сидел в комнатке без окна на табурете и молча наблюдал за дочкой хозяев, анемичной ровесницей, бесстрастно игравшей в своем углу с тряпичными куклами или бесстрастно же танцевавшей посреди каморки под неслышную музыку что-то вязко-медленное, усталое, и лицо ее становилось умильно-кротким, а худенькие лодыжки, обтянутые нитяными чулочками, дрожали от перенапряжения. Он хмуро наблюдал за девочкой, даже не пытавшейся сблизиться с гостем-«цыганенком», но когда однажды пьяненькая Уля сказала: «Подрастет Катюша – будет тебе невеста», не повышая голоса отчеканил: «Никогда. Чтоб мне сдохнуть, – никогда». Он не хотел жить в комнате без окна. С девочкой в полуспущенных чулках, живущей своей тряпичной-кукольной жизнью под неслышную музыку. Нет. Никогда. Без шуток. Это не его музыка. Быть может, его музыка – это музыка жизни его отца? Но отец выстрелил матери в висок, потом выстрелил в висок себе, оставив сына один на один с этой непонятной жизнью. Он предал сына. Предал в руки чужих, которые – все вместе – звались Родиной. Родина – это чужие. Потому она страшна, непонятна и свята. Как все чужое. Как он сам – себе. Детдом. Питание, обмундирование и прочее – это Родина. Подъем по звонку – это Родина. Ученье свет – Родина. Приказ – Родина. Расстрел за невыполнение – Родина. Вот этот рыжий голубоглазый полковник – Родина. Самая родная.

«Родина тебе верит, – снова проговорил полковник, но уже без прежней жесткости в голосе. – И я не сомневаюсь в тебе. Запомни. Раз и навсегда запомни. На тебя можно положиться. На тех, кто твоего не испытал, тоже можно, но на тебя – вдвойне. Потому что у тебя

нет прошлого. И не надо. У тебя даже настоящего нет. Ты весь будущее. Ты и есть нулевой. Запомни. Больше я тебе таких слов говорить не буду».

Он вдруг круто развернулся и зашагал к накрытому столу. Иван провел ладонью по глазам.

«Ванечка! – позвала Фира нежным голосом. – Ванечка, отчаянный, картошечка стынет!»

Они выпили стоя за первый нулевой, за высокое доверие Родины, за грядущую жизнь без прошлого, за Вождя, за победу, за все-все-все. Никогда еще, наверное, никому из них не было так хорошо.

А символический мальчик у Августы родился мертвым.

Началась просто жизнь. Дежурства. Работа. Будни, выходные, отсыпные, праздники. Все как у людей. Осень, зима, весна, снова лето, в начале которого Фира родила мертвую девочку. Может, тогда-то и начал понемножку сходиться с ума Миша Ландау? Или не чокался он? Как посмотреть.

«Мертвое место», – сказал Миша однажды.

Иван неуверенно улыбнулся: с чего бы мертвое?

«Мертвое место!» – упрямо повторил Миша, поправив очки на скользком красноватом носу.

Ардабьев быстро огляделся: рядом никого не было.

«У Августы сын умер, – продолжал Миша. – У Фиры ребенок – тоже. Тоска. Гнетет что-то...»

«Дети – дело наживное, – неуверенно пробормотал Иван. – Один помер – другие нарождаются. Не всем же помирать. Будут и живые. Человек не дерево какое-нибудь – всюду приживается...»

«Что мы знаем? – сказал Миша, будто и не слышал Ивана. – Что мы про все про это знаем? Ничего...»

«Про что – про это?» – не сразу понял Иван.

«Ну, про эти места... про этот поезд... Один поезд в сутки. Всего один. И все ради него – рельсы, шпалы, разъезды вроде нашего, склады, пакгаузы, ремзаводы, мосты, лесоповал, шпалопропитка, вода, уголь, наконец люди – вроде нас с тобой. И все ради одного-единственного состава. Сто вагонов, четыре локомотива. И чтоб никаких помех и нарушений. Чик в чик. А? – Миша снова поправил очки на потном носу. – А куда он идет? Неизвестно. А что он везет? Неизвестно. Ты знаешь, что он везет?»

«Не знаю, – оказал Иван. – А зачем мне знать? Пусть знают те, кому это положено. Может, уголь. Может, лес. Может, машины какие. Всякое такое, что Родине требуется. Не нашего ума дело, что ей требуется. Наше-то дело принять и отправить. Без сучка и задоринки. Как на железной дороге. Правильно я говорю? А тайна и есть тайна, она не наша».

«Нечеловеческая она какая-то...» – прошептал Миша.

«А какие тайны человеческие? – удивился Иван. – Тайны все против людей».

«Может быть, может быть, – закивал Миша. – Может, это я выдумываю, может, мне просто не по себе... У меня мать, отец, жена... может, мне потому и тяжело, Ваня... А у тебя пока никого...»

«Одна Родина, – осклабился Иван. – Все мое здесь. А если это все – нулевой и ради нулевого, то все мое – нулевой. Какой бы он там ни был. Принять – отправить. Чик в чик».

«Ты меня не понимаешь, Ваня, – вздохнул Миша. – Наверное, это действительно очень странное ощущение... А если он что-нибудь такое везет... – Он сделал жест, словно закручивал гайку своими мягкими длинными пальцами. – Ну, такое, понимаешь?»

«Не понимаю. Везет и везет. Что бы ни вез, ничего от этого у нас с тобой не изменится».

«У нас с тобой – да. А у других?»



«Все это выдумки, Миш. Ты все себе выдумываешь. От того, что он везет и куда, наша с тобой работа не меняется. Смысл-то тот же. А ты... – Иван замялся. – Пить бы тебе поменьше, Миш. Какой из тебя питух, прости господи!»

Папироса давно погасла, но Дон Домино все посасывал ее, машинально сплевывая и прижмуриваясь, словно дым ел глаза. Отсюда ему хорошо была видна разлившаяся река, зябкие ивняки на берегу, что-то белое у ближней опоры моста. Весна. Вот тебе и весна. Плохое время. Все наружу выходит, и доброе, и злое. Все растет, прет из-под земли, и не сразу разберешь, что это там солнцу радуется.

Быстро темнело. Начинался настоящий дождь.

Старик поднялся и зашагал вверх по склону. В доме ни огня. Где же Гуся-то? Неужто померла? Вроде не жаловалась ни на что. Вот Вася – тот да, любитель, тот жаловался не поймешь на что: лопотал и лопотал на своем чудном языке, на котором последние тридцать лет пытался изъясняться с людьми, животными и даже с нулевым, нарочно выползая из своей промозглой каморки на перрончик. Лопотал, лопотал – и умер. Утром Гуся принесла ему кашу, он лежал лицом к стене. Она его потеребила, попыталась растолкать, а он уже не дышал. Полон рот жеваной бумаги. Перед смертью принялся рвать страницы из своей заветной тетради. Несколько страниц сжег, потом, видно, спички кончились. Стал жевать лист за листом, да так и помер. Недожеванный лист торчал изо рта, а рот полон бумажной каши. Может, и захлебнулся, как знать.

«Хоронить надо, – сказала Гуся. – Отмучился».

«Надо, – кивнул Иван. – Сейчас и похороним».

Он взялся за пилу и рубанок и даже обрадовался, что выпало ему заняться хоть каким-то осмысленным делом, да еще новым. Покормить корову, задать свинье да курам – рутина, изо дня в день, из года в год. А гроб сладить – все же новенькое что-то. Сладил. Поставил на стол в бывшей аппаратной. Здесь по стенам стояли шкафы с давно молчащими приборами и погасшими лампами, телеграфный аппарат Бодо, на котором когда-то так ловко работала Фира. Работает да еще и болтает с кем-нибудь. С Мишей, мир его праху. Или с Ленкой Амбарцумян, где-то она сейчас, но на всякий случай – и ее праху мир. Или с Удоевым, который, потев и едва успевая вытирать лысую башку, рассуждал – как же, с женой начальника станции разговаривал – о рельсовых фасонных накладках, шайбах Гровера и немецком креплении «К», при котором рельс лежит – будьте спокойны, а что касается пропитки шпал (у лесопильного начальника в подчинении были и шпалопропитчики), то, кроме креозота и хлористого цинка, на этом участке использованы и втулки Колле – будьте спокойны... С кем же еще? С ним же, старым дураком, а тогда – с молодым дурнем Ваней Ардабьевым. Фира, а как называется материя на твоём платье? Шелк же, Ваня. Я тебе привезу. Ох, отчаянный! И смеется, а пальцы бегают по клавишам. Еще болтала и с Васей, мир праху его. Уже – праху.

Он извлек из кладовки бутылку самогона. Гуся соорудила закуску, и после того, как перетащили гроб на санках через мост и зарыли в желтую глину, – выпили, помянули. Молча, без слез.

«Кто-то нас хоронить будет», – вдруг сказала Гуся.

«Вперед меня помрешь – похороню», – пообещал Иван.

«А если ты вперед, так ведь я тебя на ту сторону вряд ли вытащу».

«Что ж, тут зароешь».

Здесь прошла его жизнь, другой и не видал, не было. Да и была ли она вообще? Если газеты читать, то была. Но он газет никогда не читал. И радио не слушал. Зачем? Жизнь – тут. Тут и смерть. Это и есть его мир. То есть мир вообще, со всеми чудовищами и ангелами.

«Уйду я», – ни с того ни сего сказала Гуся.

«Поздно. И куда?»

«Уйду, – повторила она бесслезно. – Холодно здесь, боюсь. Без людей страшно».

Он молча пожал плечами. Куда она, дура старая, пойдет? Никого у нее в том мире нету. Трижды рожала – и трижды мертвых. Всю остальную жизнь проухаживала за ардабьевской дочкой да за самим Иваном. Он ее и похоронит, больше некому, чего выдумывать. Баба мелет. Пусть себе мелет. Горе на труху перемалывает.

Уже на крыльце вспомнил, что оставил стул на склоне холма, под дождем, в грязи. Вернуться, что ли? Да черт с ним. Дался ему этот стул. И зачем только он его взял. Не на память же о Фире. О ней у него совсем другая память, не стульная, не вещная. Кое-как соскреб грязь с подошв, в холодной прихожей скинул сапоги, влез в обрезки валенок. Где же эта Гуся? Громко позвал:

– Гуся! Гуся!

Она не откликнулась и на этот раз.

Ардабьев нашел ее в каморке, где в последнее время жил Вася. Старуха сидела у окна и не шелохнулась, когда заскрипела дверь.

– Ждешь? – пробормотала она.

– Чего? – не понял он. – Чего – ждешь?

– Поезда ждешь?

– Ну и жду. Служба такая.

– Врешь ты, Иван, – со вздохом возразила Гуся. – Не поезда ты ждешь, а сам не знаешь – чего. Жизни, что ли, боишься? Либо другой какой жизни ждешь? Так ведь не будет...

Ардабьев насмешливо фыркнул.

– Ну-ну, порассуждай. Васька с этого же начал – да чем кончил? Знаешь...

– Так бога ждут или, может, черта... но не поезда, Иван, – продолжала Гуся. – А ты ни в бога не веришь, ни в черта, у тебя – поезд. Нулевой. Тебе и дела нет, откуда он да куда, нужен он или нет, есть он либо давно сгинул. Для тебя и свет-то стоит, пока поезд ходит. Нулевой. – Она зябко передернула плечами. – Никакой. Что за номер такой у поезда? Не бывает...

– Ужинать будем? – спросил Иван, но Гуся промолчала. – Ну, как знаешь.

И вышел, хлопнув дверью.

Сбрендила старуха. Сбрендила. Не прожила жизнь – прожевала. Проспала, продремала. Куда б ни шла, что б ни делала, все что-то жевала, хоть хлеба корку – «рот занять». Глаза полуприкрыты, ни жалобы от нее, ни радости. Такой она стала после второго мальчика, который несколько недель так пожил и успел отравить ее своей жизнью. Надежда – яд. Она и разнадеялась. А он возьми да помри. Думали, и она кончится – так убивалась. Хотела с моста броситься. А потом словно замерла, словно в дрему впала, в спячку: жует, шьет, ходит, варит-парит – и будто спит-подремывает. Когда Алена погибла, она так же спросонья взялась обихаживать Иванову дочку. Вася всех дичился, случалось, никого не узнавал, прогонял ее, вот она однажды и осталась ночевать у Ивана, да так и пошло. Спросонья. То ли баба, то ли сон. Впрочем, не баба. Тут вообще баб не было. Одна Фира. Царица. Женщина. Как Удоев однажды выразился: «Фира Саковна не женщина, она – женцизна. Она вся – женцизм мировой, будьте спокойны». Дурак, а – умный...

Он поужинал холодной вареной картофелиной, куском твердого, как фанера, сала и горбушкой хлеба, купленного с неделю назад Гусей на Восьмой станции, куда случайно заехала автолавка. Бросил на дно жестяной кружки щепоть черного чая, смешанного с тысячелистником, и залил крутым кипятком из большого алюминиевого чайника, тщательно вычищенного крупным речным песком. Гусино дело. В этом весь ее женцизм: только и хватает, чтоб вычистить посуду, сварить хлебово себе да скотине, постирать да за дитем присмотреть...

Ну а Фира?

У него слегка отвисла челюсть.

В самом деле – а Фира? Чистила ложки-плошки, варила хлебово, ходила за скотиной, без которой на Линии не прожить, стирала да за Игорем присматривала. Все то же самое. И все – по-другому. Эх, бабы!

Ардабьев швыркнул ногой табурет, достал из кладовки початую бутылку и налил себе полную чашку. Понюхал горбушку и не отрываясь выпил. Кинул в рот щепотку соли, прижал языком к нёбу, сглотнул горьковатую слюну и часто задышал. В груди потеплело.

Фиру он увидел на узловой, когда садились в грузовик, который долго вез их к месту будущей их жизни. Невысокая. Иссиня-черные волосы тугими кольцами. Смугловатая кожа. Нижняя губа чуть оттопыривается при разговоре. Низкий голос. Налитые бедра, обхваченные шелком. Задумавшись, машинально накрутила локон на палец и потянула в рот. Муж тронул за плечо. Спohватилась, заулыбалась. Господи, и такие женщины бывают, ошеломленно подумал тогда Иван. Вот такие, как эта. Улыбчивые просто так. С чутьчку оттопыренной нижней губой. Шелковые. Ему вдруг захотелось понюхать ее, обнюхать с головы до ног – господи, едва удержался, а уж так хотелось узнать, чем она пахнет. Не в духах дело. От нее могло и бензином пахнуть. Нет, чем – сама. Сама. Без духов-помад. Голова закружилась, и он схватился за борт грузовика, подпрыгнувшего на колдобине. Фира подпрыгнула на тюке, навалилась плечом на мужа. Все засмеялись. Чем она пахла? О Господи. Не капустой же. Не луком. Не. «Не» – это не ее, не для нее. Для нее – «да». Не от нее, а – она. Тьфу. Он замотал головой.

«Ты чего, Ваня? – с улыбкой наклонилась она к нему. – Тебя ведь Ваней звать?»

«Иваном, – кашлянул он. – Иваном Ардабьевым».

«И наверное, отчааааянный? – подмигнула она ему. – Что за книжка? Дюма! Боженьки вы мои, он Дюма читает!»

Господи, что она этим хотела сказать? Или – что не хотела сказать? И чем же от нее пахло? Только-только она была так близко от него, чем-то ведь на него пахнуло, чем-то теплым, тельным – чем? Или у этого запаха и названия нет?

Женщины, которых он успел узнать, пахли капустой. Вареной капустой. Все до одной. Что бы они ни делали, на какие б ухищрения ни пускались. Воспитательница в детдоме, которая вызвала его на допрос из карцера, пахла капустой, щедро политой «Красной Москвой». Она велела ему раздеться. Он разделся – так полагалось. Она ходила взад-вперед по комнате, роняя слова (драться будешь – вырастешь уродом – ты уже урод – урод из уродов – только посмотри на себя – уродский уродище – смотреть мне в глаза – руки по швам! – Господи, какие швы у голого), его кожа покрылась пупырышками, он дрожал, пальцы заledenели, по каким таким швам держать руки, чего привязалась из-за какой-то драки, – как вдруг она подошла вплотную и взяла рукой, усмехнулась: «Да он у тебя как петушинный клюв». От нее пахло капустой «Красная Москва». В детдоме всегда кормили капустой. В железнодорожном училище мастерица пахла капустой «Кармен». Кастелянша – капустой «Пиковая дама». И только упрямые резиновые девчонки пахли вскипавшим под мышками кислым потом и плохо подтертым анусом, и этот запах был лучше запаха капусты. Деревенские девчонки, привечавшие полусумасшедшего путейца, вырывавшегося из ада рокадных дорог, пахли горячей картошкой. Только не капустой. Осенью они мерзли в полях, выковыривая из глины кочаны, которые к зиме начинали пахнуть сладко-сладко, тошнотворно, головокружительно. Детдомовец, интернатский, служака железнодорожных войск Иван Ардабьев ненавидел капусту. Капусту и врагов народа. Ими, говорят, были его родители, они исчезли. Осталась капуста, в которой нашла его Родина, пахнувшая вареной капустой и плохо вымытой бабьей плотью, жадной до чужой плоти. Родина. А эта – эта Фира не пахла капустой, не пахла Родиной. И она не была жадна до чужой плоти, ей было довольно мужа, этого очкастого Мишки, доброго умницы, душившего себе голову смертоносными мыслями. Ей было довольно Мишки, а ему в жизни не доставало лишь одного. Фиры. Эсфири. У него было почти все. Была Родина, верившая ему даже больше, чем тем, у кого в роду не было врагов народа. У него был Девятый разъезд, который они между

собой называли Девятой станцией. У него была вареная капуста, бабы, пахнущие вареной капустой, пахнущей дешевыми духами. Был нулевой, тенью которого были все эти люди с их до-нулевой биографией, все эти станции и разъезды, рельсы и гайки Гровора, втулки Колле и солдаты с винтовками, колючая проволока, лютые псы-людоеды, мосты, паровозы, пакгаузы, стой-стреляю, опасность нападения на Линию, семафоры, стрелки с их остями и фонарями, уголь, шпалы, пропитанные креозотом и хлористым цинком, а может быть, и все остальное: реки большие и малые с рыбой и илом, леса и пустыни, города и деревни, идущие в атаку красноармейцы и горящие танки под Берлином, тайны природы, Москва, Кремль, Вождь и вожди, враги народа и их дети, то есть все это ради нулевого, тень нулевого, который есть цель, смысл и вершина, и все это принадлежало ему, Ардабьеву (впрочем, в такой же мере и он принадлежал всему этому), Дону Домино, отча-а-аянному, как она сказала, ему, надежному, верному, сильному, бесстрашно водившему паровозы вдоль линии фронта, под вой авиабомб и разрывы артиллерийских снарядов, – все-все-все, кроме Фиры. Кроме нее. Господи. Когда он однажды без стука, по-соседски, вошел в их комнату (тогда они жили на втором этаже общего дома, вместе со всеми станционными, это потом они поселились в отдельном кирпичном домике поблизости) и увидел ее стоящей в крохотном мелком тазике с кувшином в одной руке, а другой она держала высоко поднятые волосы, и солнце из окна просвечивало ее насквозь, и он ясно различил по-птичьи бьющееся ее сердце, дымную массу печени, прозрачный серебряный колокол мочевого пузыря, голубые косточки, плывшие в розовом мармеладе ее плоти, – «Ваня?!» – вот тогда он понял, что ему надо бежать. И бежал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.